

stephen **Fry**



Фрай
СТИВЕН

Лжец

Своеобразная энциклопедия свободолюбивых духом.

«Лжец» похож на те автомобили, которые «изнутри больше, чем снаружи»; просто удивительно, как много всего уместилось в такую небольшую книгу.

Стивен Фрай Лжец

Посвящается _____
(вставить полное имя).

*Во всем последующем нет ни единого
слова правды*

Мужчина в футболке с надписью «Слава»^[1] остановился у дома, в котором когда-то родился Моцарт. Он смотрел на дом, и глаза его сияли. Так он и стоял, неподвижно, задрав голову и весь светясь обожанием, пока стайка Линялых Джинсов и Флуоресцентных Бермуд текла, огибая его, в дом. Потом потрянул головой, сунул руку в карман штанов и направился к дверям. Высокий тонкий голос, донесшийся сзади, заставил его остановиться на полпути.

— Вы когда-нибудь задумывались, Адриан, над феноменом ключей?

— Каких именно, дверных?

— Не дверных, Адриан, нет. Отнюдь не дверных. Водных. Подумайте о родниках, кладезях, о вечно бьющих источниках. Иерусалим, к примеру, — это источник религиозности. Единственный городишко в пустыне, и тем не менее — источник трех самых могучих религий мира. Столица иудаизма, свидетель распятия Христа, город, откуда Магомет вознесся на небо. Такое впечатление, что религия бьет из его песков ключом.

Футболка «Слава» улыбнулся сам себе и вошел в здание.

Твидовая Куртка и Синяя Оксфордская Сорочка остановились перед крыльцом. Теперь настал их черед благоговейно созерцать людской поток, текущий мимо по Гетрейдегассе.

— Возьмите Зальцбург. Далеко не самый главный город Австрии, и тем не менее Иерусалим для каждого любителя музыки. Гайдн, Шуберт и... о да, потому-то мы и здесь... и Моцарт.

— Существует теория, что Землю пересекают особые линии, и там, где они сходятся, случаются странные вещи, — сказал Синяя Оксфордская Сорочка. — Лей-линии, — по-моему, так их называют.

— Вы можете счесть, будто я тяну одеяло на себя, — произнес Куртка, — но я бы сказал, что тут все дело в немецком языке.

— Войдем?

— Вне всяких сомнений.

Они вступили внутрь темноватого дома.

— Понимаете, — продолжал Куртка, — любые оттенки иронической абстракции, которые язык передать не способен,

находят себе выражение в музыке.

– Никогда не считал Гайдна ироничным.

– Возможно, конечно, что теория моя безнадежно ошибочна. Заплатите этой хорошенькой фрейлейн, Адриан.

В комнате третьего этажа, там, где шалил маленький Вольфганг, в комнате, чьи стены он расписывал не по годам толковыми решениями арифметических задач, чьи стропила подрагивали от младенческих менуэтов, Футболка «Слава» разглядывал витринки с экспонатами.

Черепеховые и слоновой кости гребни, которыми расчесывались некогда взъерошенные локоны маленького гения, похоже, не пробудили в Футболке никакого интереса, равно как и письма, и списки отданного в стирку белья, и детских размеров альты и скрипки. Внимание его целиком и полностью поглотили макеты сценических декораций, висевшие в застекленных ящичках по всем стенам комнаты.

Один из ящичков, судя по всему, в особенности зачаровал его. Футболка вглядывался внутрь его напряженно и подозрительно, словно наполовину побаиваясь, что замершие в ящичке фигурки из папье-маше пробьют стекло, выскочат и двинут его по носу. Он как будто совсем забыл о Линялых Джинсах и Кислотных Шортах, которые толпились вокруг, смеясь и обмениваясь шутками на непонятном ему языке.

Сцена, столь его увлекшая, изображала банкетный зал, посреди которого располагался нагруженный яствами обеденный стол. У стола помещались два маленьких господина – один присел от страха, а другой стоял, упершись в бок рукой, в позе высокомерного презрения. Оба смотрели вверх, на модельку белой статуи, каковая указывала на них обвиняющим перстом итальянского дорожного полицейского или вербовочного плаката военных времен.

Твидовая Куртка и Синяя Сорочка только что вошли в комнату.

– Начните с того конца, Адриан, встретимся посередке.

Куртка проследил, как Оксфордская Сорочка перемещается на другой конец комнаты, а затем подошел к ящичку, стекло которого оставалось еще запотевшим от пристального внимания Футболки «Слава».

— *Don Giovanni*, — сказал Твидовый, подходя к Футболке, — *a senar teco m'invitasi, e son venuto*. Дон Жуан, ты звал меня к обеду, я здесь.

Футболка по-прежнему не отрывал глаз от стекла.

— *Non si pasce di cibo mortale, chi si pasce di cibo celeste*, — прошептал он. — Кто обедает на небесах, не нуждается в пище смертных.

— Сколько я понимаю, у вас для меня кое-что есть, — сказал Твидовый.

— «Золотой олень», на имя Эмбури. Небольшой пакет.

— Эмбури? Мидлсекс, Англия? Вот уж не знал, что вас интересует крикет.

— Имя я взял из газеты. Показалось мне очень английским.

— Каковым оно и является. Всего хорошего. Твидовый отошел и присоединился к Синей

Сорочке, уже погрузившемуся в беседу с француженкой.

— Я объяснял леди, — сказал Сорочка, — что, по моему мнению, эти декорации «Волшебной флейты» выполнены Дэвидом Хокни.^[2]

— Определенно, — подтвердил Твидовый. — На мой взгляд, Хокни присущи два стиля. Неистовый и естественный либо холодный и бесстрастный. Помнится, я заметил однажды, что существуют две разновидности Хокни: Хокни на траве и Хокни на льду.

— Простите?

— Это шутка, — пояснил Синяя Сорочка.

— А.

Твидовый взглядывался в экспонаты.

— Вот это наверняка Царица Ночи.

— По-моему, она самый удивительный из персонажей, — сказала француженка. — А ее музыка... Господи, она просто божественна. Я и сама певица, и сыграть роль Царицы — моя заветнейшая мечта.

— Партия действительно почетная, — согласился Оксфордская Сорочка. — И, как я всегда полагал, очень сложная. Какую невысказанную ноту приходится брать исполнительнице? Верхнее до, не так ли?

Ответ, данный француженкой на этот вопрос, ошарашил не только Синюю Сорочку и его спутника, но и всех, кто присутствовал в комнате. Ибо француженка вперилась в Сорочку округлившимися от испуга глазами, открыла пошире рот и взяла пронзительным сопрано такую чистую и страстную ноту, какой ей ни разу уже не удалось повторить за всю ее дальнейшую выдающуюся оперную карьеру.

— Боже милостивый, — сказал Твидовый, — неужели и вправду так высоко? Сколько я помню...

— Дональд! — воскликнул Сорочка. — Взгляните!

Твидовая Куртка обернулся и увидел причину только что прозвучавшего вопля, равно как и других, технически менее совершенных криков, уже летевших отовсюду.

Посреди комнаты возвышался, дергаясь и подпрыгивая, точно марионетка, мужчина в футболке «Слава».

Впрочем, не вульгарность подобного перепляса в подобном месте взбудоражила всех, а вид и бульканье крови, бьющей из его горла пенной струей. Человек этот, подскакивая на месте и перебирая ногами, казалось, пытался, стискивая руками шею, остановить кровь, однако напор ее делал эту задачу неисполнимой.

В такие мгновения время останавливается.

Те, кто потом описывал эту сцену друзьям, психиатрам, священникам, журналистам, все как один говорили о звуке. Одним он представлялся хриплым урчанием, другим — булькающим карканьем; старик в твидовой куртке и его молодой спутник согласились впоследствии, что шипение, с которым бьет из кофеварки струя капучино, отныне всегда будет напоминать им этот страшный предсмертный сип.

Все запомнили ошеломляющее обилие крови и напор, с которым она прорывалась сквозь пальцы. Всем запомнился хор возвысившихся в ужасе басов, когда несколько человек, невзирая на красную морось, устремились на помощь дергавшемуся на полу мужчине. Все запомнили, как ничто не смогло заградить путь ужасной струе, которая была фонтаном из горла несчастного, погружая на его футболке слова «Я буду жить вечно» в темное пятно. Все запомнили, как долго он умирал.

Но только один из присутствовавших там людей запомнил необычайно толстого человека с маленькой головой и жидкими волосами, который, покидая комнату, выпустил из ладони нож, скользящий на пол, точно живая рыбка.

Только один человек увидел толстяка, однако делиться увиденным ни с кем не стал. Он схватил своего спутника за руку и повлек его прочь.

— Пойдемте, Адриан. Думаю, нам лучше оказаться в другом месте.

Глава первая

I

Адриан проверил орхидею в своей петлице, обозрел гетры, подтянул лавандовые перчатки, разгладил жилет, сунул под мышку черную трость из ротанга, дважды сглотнул и широко распахнул дверь раздевалки.

— Ах, дорогие мои! — воскликнул он. — Поздравляю! Поздравляю вас всех! Триумф, абсолютный триумф!

— Ну а теперь он что за херню на себя напялил? — фыркнул кто-то в дальнем, мгlistом конце помещения.

— Ты идиот и задница, Хили.

Беркисс набросил на сверкающий цилиндр Адриана кусок фланели. Адриан двумя пальцами снял ее.

— Беркисс, если существует самомалейшая возможность того, что эта фланель впитала какую ни на есть из выделяемых тобою секретий, что ею была стерта хоть капелька твоего гнусного лобкового сала, что она коснулась, лаская, хотя бы одного из замаранных уголков твоего омерзительного тела, тогда меня хватит судорога. Прости, но так и будет.

Картрайт невольно улыбнулся. Он проехался по скамье, отодвигаясь подальше, и все же он улыбнулся.

— Ну-с, девушки, — продолжал Хили, — вы непоседливы и резвы, так тому и быть надлежит, однако распускаться я вам не позволю. Я заглянул к вам лишь для того, чтобы поплодировать вашему совершенно изумительному выступлению и сказать, что кордебалет ваш — воистину лучший в городе, и я намерен угощать вас одну за другой обедом в посольстве в течение долгого и исполненного разнообразных свершений времени.

— Ты лучше скажи, что ты такое нацепил.

— Это называется «каракуль», и, я уверен, вы согласитесь, вещь это редчайшая. Вы несомненно заметите, что она льнет к моему роскошному телу так, точно ее для меня и создали... что относится также и к тебе, о усладительный Хопкинсон.

— Ой, заткнись.

Адриан увидел, что Картрайт отвернулся к своему шкафчику — шкафчику, от которого у Адриана имелся собственный ключ. Мальчик, судя по всему, с головой ушел в процесс натягивания носков. Адриану потребовалось полсекунды, чтобы сделать умственный снимок изящных ступней и божественных лодыжек, облекаемых счастливыми, счастливыми носками, — снимок, который он сможет потом проявить и исследовать, как и другие, уже наклеенные в потаенный альбом его памяти.

Картрайт никак не мог понять, отчего Хили временами бросает на него такие вот взгляды. Он чувствовал их, даже не видя, чувствовал, как эти холодные глаза оглядывают его с жалостью и презрением к человеку, не обладающему столь острым языком, столь едким остроумием, какие присущи всесильному Хили. Но ведь есть же другие мальчики, еще и поглупее, чем он, почему же Хили именно с ним обращается не так, как с остальными? С изящной небрежностью утвердив одну из обтянутых гетрами ног на скамье, пересекающей раздевалку, Адриан поворошил тростью стопку трусов и регбийных шортов.

— Особенно мне понравилась, — сказал он, — та сцена в первом действии, когда вы и девушки из Марлборо выстроились в два ряда, а после вдруг как наброситесь на этот смешной кожаный мячик. Боже, как я смеялся, когда вы позволили кордебалету из Марлборо убежать с ним... ай-ай-ай, а вот это принадлежит кому-то, так и не научившемуся подтирать попу. Бирка с именем тут имеется? Мадисон, тебе, знаешь ли, следует уделять больше внимания личной гигиене. Для этого и требуется-то всего два листка туалетной бумаги. Один для подтирки, другой для подчистки. О, как вы бежали вприпрыжку, счастливые вы создания, за нападающими Марлборо.

Но только мячика они вам не вернули, так? Все били им о землю, били, пока не перекинули через стойку ваших хорошеньких ворот.

— Это все судья, — сказал Гудерсон. — У него на нас зуб.

— Ну, как бы там ни было, милейший Гудерсон, с фактами спорить невозможно. Этот дивный дневной спектакль не оставил никаких сомнений — вам предстоит стать всеобщими любимцами города. И могут найтись лишенные совести мужчины, которые станут навещать вас прямо здесь, в вашей гардеробной. Они будут осыпать вас цветами, комплиментами, флакончиками венгерской воды и бутылками самого дорогого шампанского. Опасайтесь таких мужчин, душечки мои, им нельзя доверять.

— А что, что они нам сделают?

— Они сорвут нежные цветы вашей невинности и растопчут их.

— Это больно?

— Не очень, если заблаговременно принять меры. Ты приходи нынче вечером ко мне в кабинет, и я подготовлю тебя к этому процессу с помощью успокоительной мази моего собственного изобретения. Только надень что-нибудь зеленое, тебе следует всегда ходить в зеленом, Джарвис.

— Ой, а можно я тоже приду? — спросил Ранделл, справедливо считавшийся общедоступной сахарницей своего пансиона.

— И я! — пискнул Харман.

— Милости прошу всех.

Роберт Беннетт-Джонс рявкнул из-под душа:

— А ну-ка, заткнитесь и одевайтесь, черт бы вас побрал!

— Ты тоже приглашен, Р. Б.-Д., я разве не дал это понять?

Беннетт-Джонс, волосатый и крепкий, вышел из душевой и, тяжело ступая, направился к Адриану.

Картрайт уронил в корзинку с предназначенной к стирке одеждой свою регбийную фуфайку и покинул раздевалку, волоча за собою брезентовую сумку. Когда за ним захлопнулась дверь, он услышал резкий баритон Беннетт-Джонса:

— Ты омерзителен, Хили, тебе это известно?

Можно было бы задержаться, послушать великолепную отповедь Хили, да что толку? Говорят, когда Хили только появился здесь, у него были самые высокие отметки, какие новичок получал за всю историю школы. Однажды, в свой первый триместр, Картрайт набрался смелости и спросил Хи-ли, почему он такой умный, как упражняет свой мозг. Хили рассмеялся:

— Память, дорогой мой Картрайт. Память есть мать всех муз... по крайности, так сказал этот, как же его...

— Кто?

— Ну, знаешь, э-э, как его там, — греческий поэт. Он еще «Теогонию» написал... да как же его звали-то? На «Г» начинается.

— Гомер?

— Ничуть, дорогой. Не Гомер, другой. Нет, не могу припомнить. Так или иначе, память — вот ключ ко всему.

Картрайт отправился в библиотеку пансиона и взялся за чтение «Энциклопедии Чеймберза». Пока что он добрался только до Бисмарка.

В раздевалке Беннетт-Джонс рычал в лицо Адриану:

— Просто-напросто омерзителен, мать твою.

Прочие присутствующие, некоторые из коих гордо выступали по раздевалке, протирая зашейки свернутыми на манер горжеток полотенцами, в виноватом испуге замерли на месте.

— Ты долбаный пидор и всех в пансионе норовишь превратить в долбанных пидоров.

— Я педик? — произнес Адриан. — Но Оскара Уайльда тоже называли педиком, и Микеланджело называли педиком, и Чайковского...

— Так они педиками и были, — сказал Сарджент, еще один староста.

— Ну что же, да, это верно, — согласился Адриан. — Готов признать, подобному доводу мне противопоставить нечего. Впрочем, я говорю о другом — моя дверь всегда открыта для тебя, Р. Б.-Д., равно как и для тебя, Сарджент, что только естественно, и если

кому-то из вас никак не удастся поладить со своей сексуальностью, без колебаний приходите ко мне и все расскажите.

— О господи боже...

— Мы вместе подробно обсудим ее. Лично я полагаю, что истоками вашей нездоровой фиксации является присущее вам обыкновение облачаться в шорты и носиться по полю, равно как и эксцентрическая, неотвязная потребность обнимать руками за плечи других участников схватки и просовывать головы между задями тех, кто находится впереди. По-моему, леди слишком много обещает.^[3]

— Давай вышвырнем его на хер отсюда, — предложил, делая шаг вперед, Сарджент.

— Должен всех предупредить, — сказал Адриан, — если кто-нибудь из вас прикоснется ко мне...

— Да? — насмешливо отозвался Беннетт-Джонс. — И что тогда будет?

— Я претерплю грандиозную эрекцию, вот что, и не вините меня за последствия. Она почти наверняка завершится той или иной разновидностью эякуляции, а если кто-то из вас забеременеет, я себе этого никогда не прощу.

Сказанного оказалось достаточно, чтобы все остальные приняли его сторону, а старосты под всеобщий смех ретировались.

— Ну что же, возлюбленные мои, теперь я вас должен покинуть. Я обещал составить сегодня вечером компанию принцессе Деспине. Полагаю, после ужина мы с ней перекинемся в баккара. Ей не терпится отыграть назад изумруды Курзенауэра. Джарвис, у тебя стоит, это до крайности неприятно, кто-нибудь, попрыскайте на него холодной водой. Добрночи, Лу. Добрночи, Мей. Добрночи. Пока. Доброй ночи вам, леди, доброй ночи, милые леди, доброй ночи, доброй ночи.^[4]

Об английских частных школах можно сказать много хорошего. Мальчики подрастают, тут ничего не поделаешь, а наука пока не отыскала способа им помешать, — так лучше уж сбить их в стадо, и

пусть справляются с этой бедой частным порядком. Шесть сотен носителей кожных покровов, усеянных гнойными прыщами, шесть сотен источающих сало скальпов, двенадцать сотен подмышек, из которых прут наружу волосы, двенадцать сотен пораженных грибок внутренних бедер и шесть сотен голов, наполненных бредовыми помыслами о самоубийстве, — лучшее средство защиты от них — это школа.

А потому Адриана Хили, как и многих Хили до него, в семилетнем возрасте упрятали — ради блага общества — в пригготовительную школу, из которой он, уже двенадцатилетний, перебрался в школу частную и ныне, в пятнадцать, стоял, сотрясаемый сумбуром возмужания, на пороге жизни. Любоваться в нем было особенно нечем. Разрушительное воздействие полового созревания сказалось, что было своего рода благословением, не столько на коже его, сколько на разуме. Время от времени на лбу Адриана выскакивал большой, увенчанный желтой головкой прыщ или другой высывал голову черную из потного прибежища на ноздре, однако в общем и целом кожа Адриана оставалась достаточно чистой и не выдавала гормонального кризиса и хаоса мыслей, которые в нем бушевали, а глаза — большие и чувственные — позволяли даже счесть его привлекательным. Слишком умный, чтобы экзаменаторам удалось преградить ему путь в шестой класс, слишком неуважительный и бесчестный, чтобы стать старостой, он прочитал и впитал намного больше, чем был способен понять, и потому вел жизнь, построенную на имитации и притворстве.

Его запоры, обложенный язык и дурно пахнущие ноги были не более чем привычными атрибутами школьной жизни, передаваемыми, подобно сленгу и садизму, от поколения к поколению. Адриан мог отступать от традиций, но был не настолько глух к правилам достойного тона, чтобы тяготеть к регулярности испражнений или чистоте ног. Доброта натуры помешала ему

открыть для себя радости издевательства над однокашниками, а трусость позволяла игнорировать склонность к таковому в других.

Великое достоинство английской частной школы составляет качество даваемого ею образования. Вот и Адриан получил изрядное, широкое английское образование в той области знаний, что относилась к его чреслам. Не следует ставить это в заслугу исключительно школьным учителям Адриана, хоть некоторые из них не боялись давать ученикам практические наставления, способные согреть сердце каждому, кто считает, что современный учитель слишком небрежен в своем подходе к Телу как целому. И все же, по большей части, Адриану предоставляли возможность искать собственные пути и получать уроки плоти самостоятельно. Ему посчастливилось довольно рано напасть на истину, коей многие его одинокие современники так никогда и не постигли, а именно: каждый, попросту каждый изнывает по «этому», и, при наличии должного терпения, каждому можно *показать*, что он по «этому» изнывает. И потому Адриан ухватился за то, что имелось у него под рукой, и зажил на славу генитальной жизнью — сосредоточившись, разумеется, исключительно на представителях собственного пола, ибо год стоял пока что 1973-й, и существование девушек только еще предстояло открыть.

Впрочем, любовная его жизнь была далеко не счастливой. Вот и сегодня, несколько раньше, он успел уже преклонить колена у своего алтаря, погрузившись в пучину страданий, на которые внешняя его повадка не содержала и намека.

Все произошло наверху, в Длинном дортуаре. Спальня была пуста, половицы поскрипывали под его ногами тише обычного. Альков Картрайта был занавешен. Далекие всплески свистков и приветственных криков на Верхних спортивных площадках и близкий удар захлопнутой этажом ниже двери встревожили Адриана. Уж больно они были знакомы; нечто фальшивое, гулкое присутствовало в них, театральное — и это его настораживало. Вся школа знала, что он здесь. Все знали, что он горазд в одиночку

красться по своему пансиону. И все следили за ним, он в этом не сомневался. Дальние крики на полях хоккея и регби не были настоящими, то были магнитофонные записи, которые прокручивали, чтобы его обмануть. Он шел напрямик в западню. Да она и всегда была западней. Никто ему никогда не верил. Его и от спортивных занятий освободили только затем, чтобы он думал, будто весь пансион в его распоряжении. Они все знали, знали всегда. Том, Хэрни, Хейдон-Бейли, даже Картрайт. Картрайт в особенности. Они следили и ждали. Знали и лишь дожидались заранее выбранного мгновения, чтобы разоблачить его и опозорить.

Ну и пусть следят, пусть знают. Вот она, постель Картрайта, и вот здесь, да, здесь, под подушкой, его пижама. Мягкая чесаная ткань, мягкая, как расчесанные волосы Картрайта, и запах, запах, до последней молекулы бывший Картрайтом. Тут имеется даже сияющий на воротнике золотистый волос, а вот, вот здесь, пониже, — благоухание новое, благоухание, аромат, струящийся из средоточия самой что ни на есть картрайтовости Картрайта.

Прочие люди существовали для Адриана лишь как статисты, исполнители эпизодических ролей в фильме его жизни. Никто, кроме него, не замечал великолепия и мучительности существования, никто не был вполне и по-настоящему живым. Лишь у него перехватывало дыхание при виде застрявших в паутине капель росы или прорывающихся к жизни весенних почек. Послеполуденный свет, пляшущий, точно чертик на ниточке, в струйке слюны, стекающей с коровьей губы; лоскутик трущобных обоев на березовом стволе; каша из мокрых, раздавленных на тротуаре листьев, — все это разрасталось и расцветало лишь в нем одном. Только он знал, что такое любить.

Аааааааах... если они и вправду следят, самое время раздернуть занавесь и освистать его, самое время для презрительного рева.

Но нет, ничего. Ни воплей, ни издевок — ни единого звука, способного разорвать непомерную тишь дня.

Весь дрожа, Адриан встал и застегнулся. Все было иллюзией. Конечно, все было иллюзией. Никто за ним не следил, никто его не порицал, никто не показывал пальцем и не перешептывался. Да и кто они такие, в конце-то концов? Низколобые, красношеие ракалии-регбисты, в которых красоты и изящества столько же, сколько в их суспензориях. Вдохнув, он перешел в собственную кабинку и выложил на кровать каракулевый жилет и цилиндр.

Если не можешь слиться с ними, думал он, победи их.

В Хьюго Александра Тимоти Картрайта он влюбился с первого взгляда, когда этот мальчик в первый вечер второго школьного года Адриана медленно вплыл вместе с пятью другими новичками в сумрачный актовый зал.

Хейдон-Бейли подтолкнул Адриана локтем:

— Ну, что скажешь, Хили? Роскошь, а?

В кои-то веки Адриан промолчал. Случилось нечто ужасно неправильное.

Два мучительных триместра потребовалось ему, чтобы разобраться в симптомах. Он выискивал их по всем основным руководствам. Сомнений не было. Все до единого авторитеты твердили одно; Шекспир, Теннисон, Овидий, Китс, Джорджетт Хейер, Мильтон — все держались единого мнения. Это была любовь. Большая Любовь.

Картрайт с его сапфировыми глазами и золотистыми волосами, с его губами и гладкими членами: он был Лаурой Петрарки, Люсидасом Мильтона, Лесбией Катулла, Халламом Теннисона, светлым мальчиком и смуглой леди Шекспира, лунным Эндимионом. Картрайт был гонораром Гарбо, Национальной галереей, он был целлофаном: ласковой ловушкой, пустой и нечестивой нежданностью всего происшедшего и яркой золотистой дымкой в лугах; он был сладким-сладким, медовым-медовым, живым, живым чириканьем птенца, новорожденной любовью Адриана, — и голос

горлицы неся над землей, и ангелы обедали в «Ритце», и соловей пел на Баркли-сквер.^[5]

Два триместра назад Адриану удалось заманить Картрайта в уборную пансиона, где они провели занимательные полчаса, да Адриан, собственно, и не сомневался никогда, что сможет стянуть с Картрайта штаны, — дело было не в этом. Он хотел от Картрайта чего-то большего, чем несколько судорог удовольствия, которые могли предложить скудноватые потирания и облизывания, подбрасывания и сжатия.

Он не очень хорошо понимал, чего жаждет, но одно знал точно. Любить, алкать вечной привязанности — все это менее прилично, чем дергаться, сопеть и захлебываться где-нибудь за кортами для игры в файвз. Любовь была постыдной тайной Адриана, секс — предметом его открытой гордости.

Он затворил за собой дверь раздевалки и обмахнулся лавандовыми перчатками. Все-таки пронесло. Еле-еле. Чем дальше он зайдет в стараниях понравиться, тем большим числом врагов обзаведется. А если он падет, Беннетт-Джонс и прочие тут же сбегутся, чтобы пинать его ногами. Одно можно сказать наверняка: Педерастическая Поза себя изжила, придется измыслить новую, иначе его ждут Неприятности.

Несколько мальцов столпилось у доски объявлений. При его приближении они замолчали. Адриан погладил одного по головке.

— Милые детки, — вздохнул он и, покопавшись в кармане жилета, вытащил горстку мелочи. — Сегодня вы сможете покушать.

Он уронил мелочь на пол и проследовал дальше.

«Спятил, — сказал он себе, подходя к своей комнате для занятий, именуемой также кабинетом. — Похоже, я спятил».

В кабинете сидел в йоговской позе Том, обкусывая ногти на пальцах ног и слушая «Акваланг».^[6] Адриан опустился в кресло, снял цилиндр.

— Том, — произнес он, — ты видишь перед собой растоптанную фиалку, высосанное яйцо, выдавленный тюбик.

— Дурака я вижу никчемного, — ответил Том. — Что это за жилетка?

— Ты прав, — сказал Адриан. — Сегодня я глуп. И каждодневно. Разбит, разбит, разбит. Болит, болит, болит. Парит, претит, пердит. Все в моей жизни кончается если не на ид, то на ит. Ты понял?

— Что именно?

— Ид. Это из Фрейда. Да ты знаешь.

— А. Верно. Ну да. Ид.

— Идеалистический идиот, идиосинкразический идол. Зато *начинается* все точно на ид.

— Начинается у тебя все с себя самого, — сообщил Том, пристраивая лодыжку за ухо, — это эго, а не ид.

— Ну да, умничать-то легче всего. Ты не поможешь мне выбраться из жилета? Я начинаю потеть.

— Извини, — сказал Том, — меня заклинило.

— Ты серьезно?

— Нет.

Адриан не без труда избавился от своего одеяния и облачился в школьную форму, а Том тем временем расплетался в полулотос, рассказывая, как провел день.

— Сходил среди дня в город, купил пару дисков.

— Не говори каких, — сказал Адриан, — попробую догадаться... «Парсифаль» и «Взлет жаворонка»? ^[7]

— «Атомное сердце матери» и «Соленый пес». ^[8]

— Почти угадал. Том закурил сигарету.

— Знаешь, что меня злит в этой школе?

— Кухня? Мучительно простенькая форма?

— Столкнулся я на Хай-стрит с Розенгардом, а тот и спрашивает — почему это я матч не смотрю.

— А ты бы спросил, почему он сам его не смотрит.

— Я сказал, что как раз туда и иду.

— Экий бунтарь.

— А зачем мне лишние неприятности на задницу искать?

— Ну, «как раз туда и иду» не такое уж и изящное прикрытие для задницы. Ты мог бы сказать, что матч слишком волнует тебя, что твоя нервная система просто не выдержит подобного напряжения.

— Ладно, а я не сказал. Вернулся сюда, подрочил немного и прикончил книгу.

— «Голый завтрак»?

— Ага.

— И что скажешь?

— Дерьмо.

— Ты говоришь так потому, что ничего не понял, — сказал Адриан.

— Я говорю так потому, что понял все, — ответил Том. — Ладно, пора заняться гренками. Я пригласил к нам Хэрни и Сэмпсона.

— Кого?

— Мы задолжали им чаепитие.

— Ты же знаешь, как я ненавижу интеллектуалов.

— Ты хочешь сказать, что ненавидишь всех, кто умнее тебя.

— Ну да. Наверное, потому, Том, я так тебя и люблю.

Том бросил на него страдальческий взгляд умученного запором человека.

— Я поставлю воду, — сказал он.

Картрайт поднял голову от «Энциклопедии Чеймберза» и продекламировал: «Отто фон Бисмарк родился в... 1815-м, в год Ватерлоо и Венского конгресса. Основатель современной Германии...»

Перед глазами его простирались сотни книг, только одну из которых — «Убить пересмешника» — Картрайт когда-то прочел вместе с прочими учениками пятого класса приготовительной школы. Такое множество книг, а ведь это всего лишь библиотека пансиона. В школьной их на тысячи и тысячи больше, а уж в университетских... Время поджигает, а память его так слаба. Как там говорил Хили? Память есть мать всех муз.

Картрайт вытянул с полки том «Мальтус — Нантакет» и отыскал муз. Их было девять, все — дочери Зевса и Мнемозины. Если Хили прав, «Мнемозина» должна означать «память».

Ну конечно! Ведь слово «мнемоническое» — что-то, напоминающее о чем-то. «Мнемоническое», должно быть, происходит от Мнемозины. Или наоборот. Картрайт сделал пометку в тетради для черновиков.

Согласно энциклопедии, большая часть известного нам о музах извлечена из сочинений Гесиода, в особенности из его «Теогонии». Видимо, на этого поэта Хили и ссылался, на Гесиода. Но откуда Хили-то *знает* все это? Никто никогда не видел его с книгой в руках — а если и видел, так не чаще, чем прочих. Картрайту его ни за что не догнать. Все это просто чертовски нечестно.

Он выписал имена муз и со вздохом вернулся к Бисмарку. Когда-нибудь он доберется до самого конца, до «zythum». Не то чтобы он в этом нуждался. Картрайт уже заглянул вперед и знал, что так называется род египетского пива, которое очень рекомендовал всем попробовать Диодор Сицилийский — кем бы он ни был.

Когда Адриан объявил, что намерен разделить кабинет с Томом, это вызвало у всех немалое удивление.

— С Томпсоном? — возопил Хейдон-Бейли. — Да он же дуб дубом, разве нет?

— Мне он нравится, — ответил Адриан, — он необычен.

— Непригляден, ты хочешь сказать. Совершенная деревяшка.

Да, действительно, ничего особенно аппетитного во внешности и манерах Тома не наблюдалось — он оставался одним из немногих в школе мальчиков, с которыми Адриан не складывал зверя с двумя спинами,^[9] — вернее, не складывал зверя с одной спиной и небезынтересным устройством тела, — однако в течение последнего года многие пришли-таки к заключению, что в Томе присутствует нечто заслуживающее внимания. Он не был умен, но много работал и очень много читал — для того, полагал Адриан, чтобы приобрести

нечто от его, Адриана, блеска и бойкости. Том всегда шел своим путем и руководствовался собственными идеями. Он ухитрился отрастить самые длинные в пансионе волосы и демонстрировал пристрастие к табаку с открытостью, никому больше в школе и не снившейся, но почему-то не привлекал к себе при этом никакого внимания. Создавалось впечатление, что он носит длинные волосы и курит сигареты потому, что ему это нравится, а не из желания покрасоваться. Черта опасная, подрывающая основы основ.

Фрида, младшая экономка немецких кровей, однажды застучала его загорающим голышом в рощице.

— Томпсон, — оскорбленно вскричала она, — не положено лежать здесь совсем голым!

— Вы правы, сестра, простите, — пробормотал Том, протянул руку и нацепил на нос зеркальные солнечные очки. — И о чем я только думал, не понимаю.

Адриан считал, что это он привлек к Тому всеобщее внимание, сделал его популярным, что Том — его собственное, личное детище. Немногословный прыщавый олух-первоклашка обратился в человека, которым восхищались, которому подражали, и Адриан вовсе не был уверен, что так уж этому рад.

Нет, Том ему нравился, сомнений нет. Том был единственным, с кем он когда-либо разговаривал о своей любви к Картрайту, причем Тому хватало чувства приличия, чтобы не выказывать особой заинтересованности и сочувствия, не загашать святое и чистое пламя Адриановой страсти советами и участливостью. Вот без Сэмпсона и Хэрни Адриан вполне мог обойтись. В особенности без Сэмпсона, столь образцово воплощавшего тип зубрилы из классической школы, что он на такового даже не походил. Далеко не идеальная компания для чаепития.

Чай представлял собой особый институт, целиком, так сказать, вращавшийся вокруг ритуала преклонения перед Гренком. В месте, где спиртное, табак и наркотики пребывали под запретом, важно было подыскать для них какую-либо замену — мощный и

общедоступный тотем возмужалости и выдержки. По причинам, давно уже затерявшимся во времени, на эту роль был избран Гренок. Имя его упоминали при всяком удобном случае, произнося таковое с кошмарным выговором частной школы — «гринак».

— Только я принялся за гренки, как заваливаются Бартон и Хопвуд...

— Харман вообще-то малец неплохой. Отлично готовит гренки...

— Слушай, может, заглянешь ко мне в кабинет, гренков наготовим...

— Господи, и пошевелиться-то больно. Вконец перетрутился с гренками...

Адриан как раз и рассчитывал мирно посидеть с Томом за гренками, поговорить о Картрайте.

— Ох, Иисусе Христе, — произнес он, расчищая на своем столе место для чайника. — О христианнейший Христос.

— Что, проблема?

— Я не узнаю покоя, пока он не поцелует меня, — простонал Адриан.

— Ты уверен?

— Уверен и могу сказать тебе, в чем еще я уверен. В том, что на нем сейчас голубой, с высоким воротом свитер из шетландской шерсти. И пока мы с тобой разговариваем, его тело движется внутри свитера. Теплое и живое. И это превышает все, что способен вынести человек из плоти и крови.

— Ну, тогда прими холодный душ, — сказал Том. Адриан пристукнул чашкой по столу и схватил

Тома за плечо.

— Холодный душ? — воскликнул он. — Джизус-Крайст, друг, я говорю о любви! Знаешь, что она для меня значит? У меня все сжимается в животе, понимаешь, Том? Любовь разъедает меня изнутри, это верно. Но что она делает с моим разумом? Она швыряет за борт мешки с песком, чтобы он воспарил, как воздушный шар. Я вдруг возношусь над обыденностью. Я обретаю наивысшие

искусность и ловкость. Я иду по канату над Ниагарским водопадом. Я — один из великих. Я Микеланджело, ваяющий бороду Моисея. Я Ван Гог, пишущий чистый солнечный свет. Я Горовиц, играющий Императорский концерт.^[10] Я Джон Барримор,^[11] еще не взятый за горло киношниками. Я Джесси Джеймс^[12] и два его брата — все трое сразу. Я У. Шекспир. И вокруг меня уже нет никакой школы — это Нил, Том, Нил, — и барка Клеопатры скользит по водам.

— Неплохо, — сказал Том, — совсем неплохо. Сам придумал?

— Рэй Милланд в «Потерянном уик-энде». Он вполне мог говорить о Картрайте.

— Однако говорил о спиртном, — отметил Том, — что само по себе может сказать тебе о многом.

— А именно?

— А именно заткнись и намазывай масло.

— Я поставлю пластинку со «Смертью в любви»,^[13] вот что я сделаю, мерзкая ты скотина, — сказал Адриан, — и пусть мое сердце бьется в согласии со сладостными звуками. Однако поспешите, друг мой! — я слышу, что к дому подкатил экипаж. А вот, Ватсон, если только я не ошибаюсь, и наш клиент поднимается по лестнице. Войдите.

В двери появился помаргивающий за очками Сэмпсон, следовавший за ним Хэрни бросил Тому какую-то баночку.

— Привет, Том. Я принес немного лимонной помадки.

— Лимонной помадки! — вскричал Адриан. — А что я тебе сию минуту говорил, Том? «Ах, если бы у нас была лимонная помадка для наших гостей». Ты читаешь чужие мысли, Хэрни.

— А вон там гренки, — произнес Том.

— Спасибо, Томпсон, — сказал Сэмпсон, хватая гренок. — Гудерсон говорит, ты был не неблизок к тому, Хили, чтобы Р. Б.-Д. с Сарджентом помяли тебя в раздевалке.

— Мадам Молва вновь обскакала меня. «Не неблизок»? О господи...

Хэрни хлопнул Тома по спине.

— О, Томмо, — сказал он, — вижу, ты наконец раздобыл «Атомное сердце матери». Ну и как тебе? Забирает или не очень?

Пока Том с Хэрни судачили о «Пинк Флойд», Сэмпсон объяснял Адриану, почему он считает Малера на самом-то деле куда более необузданным, чем любая рок-группа, — в том смысле, что ему приходится обуздывать себя в гораздо большей мере.

— Интересная мысль, — сказал Адриан, — в том смысле, что в ней нет ничего интересного.

Когда с чаем и гренками было покончено, Хэрни встал и откашлялся.

— Думаю, Сэм, теперь мне пора рассказать о моем плане.

— Определенно, — откликнулся Сэмпсон.

— Эй, там! — произнес Адриан, вставая, чтобы запереть дверь. — Грабеж, измена, хитрость.^[14]

— Штука вот такая, — начал Хэрни. — Мой брат, не знаю, известно ли вам об этом, учится в Радли, ввиду того что родители сочли плохой идеей отдать нас обоих в одну школу.

— Ввиду того, что вы близнецы? — поинтересовался Адриан.

— Правильно, ввиду того, что мама налегала на средства для повышения плодовитости. В общем, он написал мне на прошлой неделе насчет неслыханно дикого скандала, который разразился там ввиду того, что кто-то наделал дел, издавая неофициальный журнал под названием «Потаскун», полный непристойных клевет и фантастических измышлений. Вот я и подумал, мы с Сэмми подумали, — почему бы и нет?

— Почему бы и нет что? — спросил Том.

— Почему бы не проделать то же самое здесь?

— Ты имеешь в виду подпольный журнал?

— Ну да.

Том открыл и закрыл рот. Сэмпсон самодовольно ухмылялся.

— Иисус изнуренный и мать-перемать, — сказал Адриан. — Вот это мысль.

— Согласись, отличная.

— А те ребята, — поинтересовался Том, — те, что выпускали журнал в Радли. Что с ними стало?

Сэмпсон принялся протирать кончиком галстука очки.

— А вот это как раз причина, по которой нам следует действовать с великой осторожностью. Их обоих... м-м... тоже «выпустили». «Выставили» — таков, сколько я понимаю, технический термин.

— Это значит, что все необходимо хранить в тайне, — сказал Хэрни. — Статьи пишем на каникулах. Вы печатаете их на восковке и посылаете мне. Я иду в отцовский офис, там есть «Гестетнер»,^[15] делаю копии, а в начале следующего триместра доставляю их сюда, и мы находим способ тайком распахать журнал по всем пансионатам.

— Все это смахивает на «Колдиц»,^[16] нет? — сказал Том.

— Нет-нет! — воскликнул Адриан. — Не слушайте Томпсона, он циничная старая галоша. Я за, Хэрни. Безусловно за. Какого рода статья тебе нужна?

— Ну, сам понимаешь, — ответил Хэрни, — что-нибудь подстрекательское, направленное против частной школы. В этом роде. Чтобы их всех пробрало.

— Я задумал подобие «фаблио», в котором наша школа сравнивается с фашистским государством, — сообщил Сэмпсон, — нечто среднее между «Скотным двором» и «Артуро Уи»...^[17]

— Остановись, Сэмми, я распаляюсь от одной только мысли, — сказал Адриан. Он взглянул на Тома: — Что думаешь?

— Ну а почему бы и нет? Похоже, повеселимся.

— И помните, — предупредил Хэрни, — *никому* ни слова.

— Наши уста запечатаны, — сказал Адриан.

«Уста». «Запечатаны». Опасные слова. Пяти минут не проходит, чтобы ему не вспомнился Картрайт.

Хэрни извлек из кармана жестянку из-под табака и оглядел комнату.

— А теперь, — произнес он, — если кто-нибудь опустит шторы и запалит благовонную палочку, могу предложить вам упоительные двадцать четыре карата смолки из собранной в Непале черной

конопли, каковую смолку надлежит выкурить незамедлительно ввиду того, что мерзопакость эта и вправду качественная.

II

Адриан мчал по коридору к классу Биффена. Его остановил один из школьных капелланов, доктор Меддлар.

— Запаздываем, Хили.

— Вот как, сэр? И вы тоже? Меддлар взял его за плечи.

— Вы несетесь во весь опор, Хили, не разбирая дороги. А впереди вас ожидают преграды, рывтины и страшное падение.

— Сэр.

— И когда вы рухнете, — сверкнув очками, сказал Меддлар, — я буду смеяться и кричать ура.

— В вас скрыта душа милосердного христианина, сэр.

— Слушайте меня! — рявкнул Меддлар. — Вы считаете себя очень умным, верно? Так позвольте сказать вам, что в этой школе таким, как вы, не место.

— Зачем вы говорите мне это, сэр?

Стивен Фрай

— Затем, что если вы не научитесь жить рядом с другими людьми, не научитесь приспособливаться, ваша жизнь обратится в долгий, прискорбный ад.

— Что и наполнит вас удовлетворением, сэр? Безумно порадует?

Меддлар смерил его гневным взглядом и изобразил глухой смешок:

— Что дает вам право, мальчишка, говорить со мною подобным образом? Почему, ради всего святого, вы считаете, что имеете право на это?

Адриан с негодованием обнаружил, что на глаза его наворачиваются слезы.

— Бог дает мне это право, сэр, потому что Бог любит меня. И Бог не допустит, чтобы меня судил ф-ф-фашист — ханжа — ублюдок вроде вас!

Он вывернулся из лап Меддлара и полетел по коридору.

«Ублюдок, — пытался выкрикнуть он, — долбаный проклятый ублюдок!» Однако слова застревали в горле.

Меддлар захохотал ему вслед:

— Вы порочны, Хили, порочны до мозга костей.

Адриан выскочил во двор. Все ученики школы сидели на утренних занятиях. В колоннаде было пусто: Старая классная, библиотека, дом директора, лужайка Основателя — обезлюдело все. Вот она, обитель Адриана, его пустой мир. Он представил себе, как вся школа, прижавшись носами к оконным стеклам, следит за ним, перебегающим Западный двор. Старосты пансионатов прохаживаются с переносными рациями по коридору.

— Говорит Синий-семь. Объект следует мимо библиотеки Кавендиша к Музыкальной школе. Отбой.

— Синий-семь, говорит Меддлар. Встреча прошла согласно плану, объект выведен из себя, весь в слезах. Красному-три продолжить наблюдение в Музыкальной школе. Отбой.

«Либо они — живые существа, а я плод воображения, либо я живое существо, а они — фантомы».

Адриан прочитал кучу книг и знал, что на самом-то деле ничем от других не отличается. И все же у кого еще змеи извиваются в животе, как у него? Кто бежит рядом с ним в таком же отчаянии? Кто еще будет помнить это мгновение и все мгновения, подобные этому, до конца своих дней? Никто. Они сидят за своими партами, помышляя о регби и ланче. Он не такой, как они, и потому одинок.

Первый этаж Музыкальной школы занимали маленькие классы для практических занятий. Адриан, бредя по коридору, слышал, как за дверьми упражняются ученики. Виолончель подпихивала по воде протестующего лебедя Сен-Санса. Следом труба выпукивала «Слава пребудет с Тобой».^[18] А в третьем от конца классе Адриан увидел сквозь стеклянную дверь Картрайта, небезуспешно справлявшегося с бетховенским менуэтом.

Рок всегда ведет себя именно так. В школе было шестьсот учеников, и хотя Адриан выступил нынче в путь, чтобы перехватить

Картрайта и подстроить якобы случайную встречу, — расписание его Адриан знал наизусть, — он все равно питал уверенность в том, что частота их случайных столкновений значительно превышает естественную.

Судя по всему, Картрайт был в классе один. Адриан толкнул дверь и вошел.

— Привет, — произнес он, — не останавливайся, у тебя хорошо получается.

— По-моему, ужасно, — сказал Картрайт. — Никак не добьюсь беглости левой руки.

— Я слышал совсем другое, — ответил Адриан, и его тут же охватило желание откусить себе язык.

Вот он здесь, наедине с Картрайтом, чьи волосы даже сейчас взмывает льющийся в окно солнечный свет, с Картрайтом, которого он любит всей душой и существом, и единственные слова, какие у него нашлись, это «я слышал совсем другое». Господи, да что же это с ним? С не меньшим успехом он мог гаркнуть голосом Эрика Моркэмби:^[19] «На это ответа не существует» — и потрепать Картрайта по щеке.

— М-м, у тебя официальный урок?

— Да нет, мне через полчаса сдавать экзамен за третий класс, вот и решил поупражняться. По крайней мере, избавился от двух уроков математики.

— Повезло.

«Повезло»? Ну чистый Оскар Уайльд.

— Что ж, тогда я, пожалуй, не стану тебе мешать.

Отлично, Адриан, блестяще. Мастерски сказано. «Тогда я, пожалуй, не стану тебе мешать». Измени один только слог, и вся эта изящная сентенция рухнет.

— Ладно, — сказал Картрайт и повернулся к инструменту.

— Ладно, будь здоров. Удачи! Адриан закрыл за собой дверь. О Боже. О божественный Боже.